

**ИЗ ЦИКЛА
«СТИХИ О ДОЧЕРИ»**

Наташе

I

Душная, безлунная
наступила ночь.
Все о сыне думала,
а сказали: «Дочь».

Хорошо мечтается
в белизне палат...
Голубые лампочки
у дверей горят.

Ветер стукнул форточкой,
кисею струя.
Здравствуй, милый сверточек,
доченька моя!

Все такое синее,
на столе — цветы.
Думала о сыне я,
а родилась — ты.

Ты прости, непрошенный
ежик сонный мой.
Я тебя, хорошую,
отвезу домой.

Для тебя на коврике
вышита коза,
у тебя, наверное,
синие глаза...

Ну... а если серые —
маме все равно.

.....
Утро твое первое
смотрится в окно.

II

Мне с каждым днем милее ты:
все тверже взгляд, все звонче лепет.
Как будто новые черты
рука невидимая лепит.

Ночник... И тени на стене...
Мне часто по ночам не спится,
вот шевельнулись в полусне
твои спокойные ресницы.

Ты просыпаешься. И где б
я ни была, зовешь в испуге.
И пух волос твоих нелеп,
как у нахохленной пичуги.

И так похожи на цветы
румянец щек, и мягкость лапок,
и пухлость губ, и милый запах
ребячьей сонной теплоты.

III

Ты счета не ведешь годам,
встречая только третье лето.
Твоих мгновений череда
туманом солнечным одета.

Уколы маленьких обид
тебя еще не могут ранить,
и огорчений не хранит
твоя ребяческая память.

И, милой резвости полна, —
как знать ребенку тяжесть ноши?
Ты слово новое — «война» —
лепечешь, хлопая в ладоши.

IV

Вагон бросало и качало.
Молчали все. А вечер гас.
И каждый знал: еще начало,
еще неясный первый час.

Казалось мне: за далью алой
гремят грядущие бои...
Но как бессильно я сжимала
ручонки пыльные твои!

А после ночь. Без искры света
свершался необычный путь.
Скажи, ответь — ты помнишь это?
И если помнишь — позабудь.

Живи, цветам и песням рада,
смеясь, горя и любя,
а помнить этого не надо:
я буду помнить за тебя.

V

Тревога. Грусть. Приходит почтальон —
ни весточки о милом человеке...
А городок метелью занесен
до самых крыш. И, кажется, навеки.

Наш новый дом в сугробах под горой,
к нему бежит петлистая дорожка,
в нем есть окно за ледяной корой,
печурка есть, горячая картошка.

Есть девочка. Зеленые глаза,
лукавый рот и бантик цвета мака.
Есть девочка. При ней нельзя заплакать,
при ней нельзя о горьком рассказать.

Она поймет. С недетской теплотой
ладошки мягкие ко мне на плечи лягут...
Нельзя при ней, при маленькой такой, —
ей рано знать печаль житейских тягот.

Я напишу ей буквы на листе,
я нарисую зайчика в тетради.
И засмеюсь — ее улыбки ради.
Я буду плакать после, в темноте...

VI

Суровый год. В траве чернеют щели,
но дни июня ветрено свежи.
Опять шумят разлапистые ели,
и чертят небо легкие стрижи.

Орлы сидят за ржавою решеткой,
полуприкрыв окаменелый взгляд.
Кричит павлин, барсук ютится кроткий
среди смешных мохнатых медвежат.

Иду с тобой по парку не спеша я,
над нами листьев солнечная дрожь..
Когда-нибудь ты вырастешь большая
и эти строки снова перечтешь.

Как взмах крыла, как искра в синем дыме,
они опять пересекут твой путь.
Они тебе покажутся простыми,
далекими, наивными чуть-чуть.

И все-таки ты радостно и мило
лукавый свой на миг потупишь взгляд, —

совсем как та, которая ходила
по воскресеньям с мамой в зоосад.

VII

А круг все ширится. В него вовлечены
природа, люди, города и войны.
Теперь ей книжки пестрые нужны,
упав, она не говорит, что больно.

Не любит слово скучное «нельзя»,
все льнет ко мне, работать мне мешая.
Как выросла! Совсем, совсем большая, —
мы с ней теперь хорошие друзья.

Она со мною слушает салюты,
передвигает красные флажки
и, Прут найдя на карте в полминуты,
обводит пальцем ниточку реки.

Понятлива, пытлива и упряма.
На многое ответы ей нужны.
Она меня спросила как-то: «Мама,
а было так, что не было войны?»

Да. Было так. И будет, будет снова.
Как хорошо тогда нам станет жить!
Ты первое услышанное слово
еще успеешь в жизни позабыть.



ХИРУРГ

Н.Л. Чистякову

Порой он был ворчливым оттого,
что полшага до старости осталось.
Что, верно, часто мучила его
нелегкая военная усталость.

Но молодой и беспокойный жар
его хранил от мыслей одиноких —
он столько жизней бережно держал
в своих ладонях, умных и широких.

И не один, на белый стол ложась,
когда терпеть и покоряться надо,
узнал почти божественную власть
спокойных рук и греющего взгляда.

Вдыхал эфир, слабел и, наконец,
спеша в лицо неясное взглядеться,
припоминал, что, кажется, отец
смотрел вот так когда-то в раннем детстве.

А тот и в самом деле был отцом
и не однажды с жадностью бессонной
искал и ждал похожего лицом
в молочном свете операционной.

Своей тоски ничем не выдал он,
никто не знает, как случилось это, —
в какое утро был он извещен
о смерти сына под Одессой где-то...

Не в то ли утро, с ветром и пургой,
когда, немного бледный и усталый,
он паренька с раздробленной ногой
сынком назвал, совсем не по уставу.

МАТЬ

Она совсем немного опоздала,
спеша с вокзала с пестрым узелком...
Еще в распахнутые окна зала
виднелось знамя с золотым древком,
еще на лестнице лежала хвоя,
и звук литавр, казалось, не погас...

Она прошла с дрожащей головою,
в глухом платке, надвинутом до глаз.
Она прошла походкою незрячей,
водя по стенам сморщенной рукой.
И было страшно, что она не плачет,
что взгляд такой горячий и сухой.

Еще при входе где-то, у калитки,
узнала, верно, обо всем она.
Ей отдали нехитрые пожитки
и славные сыновьи ордена.

Потом старуха поднялась в палату, —
мне до сих пор слышны ее шаги, —
и молчаливо раздала солдатам
домашние ржаные пироги.



МУЗЫКА

С утра в конторе щелкала на счетах,
в очках, платком замотана до глаз.
И было в ней от хмурой птицы что-то,
и что-то в ней отпугивало нас.

Мы очень мало знали друг о друге.
Откуда в лазарете эта тень?
Тревожной сводкой начинался день,
росли морозы, подступали вьюги.

Бывало, что усталость верх брала
и согреваться становилось нечем.
Но я ведь не об этом начала,
я начала о женщине...

Тот вечер
был тише и угрюмее других.
Почти стемнело. В коридоре где-то
стеклянный звук разбился и затих.
И показался на мгновенье светом.

Рояль отвык. В углу закоченев,
он весь скрипел и охал от натуги,
но беспощадно старческие руки
будили в нем отчаянье и гнев.

И словно хрустнул, расколовшись, лед,
и мраку нет на свете больше места —
один порыв, один прямой полет,
все на пути сжигающее presto.

В очках, платком замотана до глаз,
как будто бы с охрипшей вьюгой споря,
она до ночи согревала нас
в продрогшем лазаретном коридоре.

...И, робко взяв пьянистку за плечо,
не отводя от белых клавиш взгляда,
старик казах проговорил: «Еще».
Потом подумал и прибавил: «Надо».



* * *

Я знаю — я клялась тогда,
что буду до конца верна,
как ни тянулись бы года,
как долго бы ни шла война.

Что все — с тобою пополам,
что ты один мне только люб,
что я другому не отдам
ни жарких слов, ни верных губ.

С повязкой влажной и тугой
в жару метался тот, другой.
И я, дежурная сестра,
над ним сидела до утра...

Он руку женскую к груди
тоскливо прижимал в бреду
и все просил: «Не уходи».
И я сказала: «Не уйду».

А после, на пороге дня,
губами холоднее льда,
спросил он: «Любишь ли меня?»
И я ему сказала: «Да».

Я поклялась тебе тогда, —
но я иначе не могла...
Обоим я сказала «да»
и никому не солгала.

САЛЮТ

Мы час назад не думали о смерти.
Мы только что узнали: он убит.
В измятом, наспех порванном конверте
на стуле извещение лежит.

Мы плакали. Потом молчали обе.
Хлестало в стекла дождиком косым...
По-взрослому нахмурив круглый лобик,
притих ее четырехлетний сын.

Потом стемнело. И внезапно, круто
ракетами врезаясь в вышину,
волна артиллерийского салюта
тяжелую качнула тишину.

Мне показалось, будет очень трудно
сквозь эту боль и слезы видеть ей
цветенье желтых, красных, изумрудных
над городом ликующих огней.

Но только я хотела синей шторой
закрыть огни и море светлых крыш,
мне женщина промолвила с укором:
«Зачем? Пускай любитесь малыш».

И, помолчав, добавила устало,
почти уйдя в густеющую тьму:
«...Мне это все еще дороже стало —
ведь это будто памятник ему».

ВСТРЕЧА

С поля наплывает горечь донника —
запах лета, жаркий и сухой.
На закате охает гармоника
над стеклянно-розовой Окой.

Пыльным въездом проплелись подводы,
разошелся по домам народ,
от конторки, баламутя воду,
отвалил на Горький пароход.

И тогда не тихо и не скоро,
будто встрече будущей не рад,
поднялся, прихрамывая, в гору
с фронта возвратившийся солдат.

Далеко ему еще до дома,
и другой туда, пожалуй, путь,
только очень к девушке знакомой
хочется солдату заглянуть.

Снова к сердцу подступило прошлое,
сжались от обиды кулаки.
Девушка простилась по-хорошему
и не написала ни строки.

Позабыла девушка, наверное,
вечера на отмелях Оки,
поглядеть бы ей в глаза неверные
и уйти, не протянув руки.

Он курчавой тропкою проходит,
за ноги цепляется вьюнок...
Бабка свеклу полет в огороде —
окликает: «Заходи, сынок!»

До чего же это все родное,
даже не задетое бедой!
В темных сенцах кадка с ледяною
сладкою колодезной водой.

Зеленеет свет на подоконнике
сквозь густую пыльную листву,
на комодке каменные слоники
выстроены в ряд по старшинству.

Над комодом в рамках и без рамок
полинялых фотографий ряд —
дедовских, отцовских, тех же самых,
что висели тридцать лет назад.

И внезапно щеки побледнели:
не замеченная до сих пор,
девушка в пилотке и шинели
посмотрела со стены в упор.



ПИСЬМО

Хмуρο встретили меня в палате.
Опльвала на столе свеча.
Человек метался на кровати,
что-то исступленное крича.

Я из стиснутой руки солдата
осторожно вынула сама
неприглядный, серый и помятый
листик деревенского письма.

Там, в письме, рукою неумелой
по-печатному писала мать,
что жива, а хата погорела
и вестей от брата не слышать.

Что немало горя повидали,
что невздам не было конца,
что жену с ребенком расстреляли,
уходя, у самого крыльца.

Побледневший, тихий и суровый
в голубые мартовские дни
он ушел в своей шинели новой,
затянув скрипучие ремни.

В коридоре хрустнул пол дощатый,
дверь внизу захлопнулась, звеня.
Человек, не знающий пощады,
шел вперед, на линию огня.

Шел он, плечи крепкие сутуля,
нес он ношу — ненависть свою.
Только бы его шальная пуля
не задела где-нибудь в бою...

Только не рванулась бы граната,
бомба не провыла на пути,
потому что ненависть солдату
нужно до Берлина донести!



В КУДИНОВЕ

Небо чисто, зелено и строго.
В закопченном тающем снегу
танками изрытая дорога
медленно свивается в дугу.

Где-то на лиловом горизонте
низкий дом, запорошенный сад...
Ты подумай только: как о фронте,
о деревне этой говорят, —

где в то лето солнечные слитки
падали в смолистый полумрак,
где у сделанной тобой калитки
как-то утром распустился мак.

Где ночами, за белесой пряжей,
ухала унылая сова,
где у маленькой девчурки нашей
складывались первые слова.

Как душе ни трудно и ни тяжело,
все равно забыть я не могу
шелковую мокрую ромашку,
девочку на солнечном лугу.

Как теперь там странно, незнакомо,
каждый куст на прежний не похож,
как, наверное, страшна у дома
пулемета бешеная дрожь.

Как, наверное, угрюм и мрачен,
слыша дальний, все растущий вой,
у калитки старой нашей дачи,
стиснув зубы, ходит часовой.

НОЧНАЯ ТРЕВОГА

Знакомый, ненавистный визг...
Как он в ночи тягуч и режущ!
И, значит, — снова надо вниз,
в неведение бомбоубежищ.

И снова поиски ключа,
и дверь с задвижкой тугою,
и снова тельце у плеча,
обмякшее и дорогое.

Как на́зло, лестница крута, —
скользят по сбитым плитам ноги;
и вот навстречу, на пороге —
бормочущая темнота.

Здесь времени потерян счет,
пространство здесь неощутимо,
как будто жизнь, не глядя, мимо
своей дорогою течет.

Горячий мрак, и бормотанье
вполголоса. И только раз
до корня вздрагивает зданье,
и кто-то шепотом: «Не в нас».

И вдруг неясно голубой
квадрат в углу, на месте двери:
«Тревога кончилась. Отбой!»
Мы голосу не сразу верим.

Но лестница выводит в сад,
а сад омыт зеленым светом,
и пахнет резедой и летом,
как до войны, как год назад.

Идут на дно аэростаты,
покачиваясь в синеве.
И шумно ссорятся ребята,
ища осколки по примятой,
белесой утренней траве.



ПТИЦА

Бои ушли. Завесой плотной
плывут туманы вслед врагам,
и снега чистые полотна
расстелены по берегам.

И слышно: птица птицу кличет,
тревожа утреннюю стынь.
И бесприютен голос птичий
среди обугленных пустынь.

Он бьется, жалобный и тонкий,
о синеву речного льда,
как будто мать зовет ребенка,
потерянного навсегда.

Кружит он в скованном просторе,
звenea немислимой тоской,
как будто человечьe горе
осталось плакать над рекой.



ГОРОДОК

Не прозвучит ни слово, ни гудок
в развалинах, задохшихся от дыма.
Лежит убитый русский городок,
и кажется — ничто непоправимо.

Еще в тревожном зареве закат
и различимы голоса орудий,
а в городок уже приходят люди.
Из горсти пьют, на дне воронки спят.

И снова дым. Но дым уже другой —
теперь он пахнет теплотой и пищей.
И первый сруб, как первый лист тугой,
из черного выходит корневища.

И медленная светлая смола,
как слезы встречи, катится по стенам.
И верят люди: жизнь благословенна,
как бы она сурова ни была!



БЕЖЕНЕЦ

Он из теплушки на траву горячую
по-стариковски спрыгнул тяжело.
В косых лучах столбы вдали маячили,
и все в степи жужжало и цвело.

Внезапная прохлада наплывала,
вода журчала в чаще ивняка,
и эту воду пили у привала
и брали в чайник вместо кипятка.

Старик лежал, глазами безучастными
следа за колыханьем колоска.
Десятками травинок опоясанный,
зеленый мир качался у виска.

Июльский воздух, раскаленный, зримый,
над степью тек. Старик лежал на дне.
Все, не касаясь, проходило мимо.
Он жил все там — в своем последнем дне.

Такое же вот солнце заходящее,
бормочущего сада забытье,
мычанье стада и в кустах блестящее
днестровское тяжелое литье.

От памяти нам никуда не деться,
не выжечь в мыслях прошлого огнем,
но если лучше в прошлое взглядеться,
увидеть можно будущее в нем.

УТРО

Еще, наверно, в сумраке глухом
луна глядит на город желтым оком,
еще рассвет неопытным штрихом
не обозначил затемненных окон,
а мне не спится. Время истекло,
и, прогоняя образы ночные,
посыпались в дремотное тепло,
как медленные льдинки, позывные.
Мне слышно все за тонкою стеной.
Как «Широка страна моя родная...»
течет по сердцу струйка ледяная:
что сделали с родной моей страной!
О, этот звонкий холод по утрам,
когда темно и день еще не начат!
А надо жить. Как дует в щели рам,
как осень в трубах по-ребячьи плачет!
Встаю. Иду. Растапливаю печь.
Дрова шипят. Они опять потухли.
Как едок дым, как трудно мне разжечь
чужую печь в чужой холодной кухне!
Квадрат окна теперь невнятно сиз.
Рассвет вползает нехотя и хмуро.
Колючий дождь царапает карниз,
в сенях молчат нахохленные куры.
Я прихожу с расплесканным ведром,
дыханьем грею синие ладони.
Как я давно покинула мой дом!
Но я уже не думаю о доме.

Все, что когда-то было мне дано,
опять встает, с ненастным утром споря,
и так уж, видно, людям суждено —
о счастье помнить в самом горьком горе.
И вот я вижу первую траву,
несмелую, в еще прозрачном парке.
Москвы-реки рябую синеву
избороздили хрупкие байдарки.
Сбегаю вниз... По ветру легкий флаг
полощется над пристанью резною,
но вход закрыт и непросохший лак
слепит глаза полдневной белизною.
Москва моя! Недобрые леса
от глаз моих надолго заслонили
твоих домов янтарные глаза,
твоих мостов негнущиеся крылья,
Нескучный сад в торжественной парче,
и то шоссе, что мне все время снится,
и первый снег, как перья белой птицы,
у Пушкина на бронзовом плече.
...Я позабыла, что в Москве темно.



РАЗГОВОР С МОСКВОЙ

В Москве тревога — это знали все
и ждали долго, хмуро и упорно.
Врывались ветки в матовой росе
в открытое окно переговорной.
Уже светало. Где-то вдалеке
кричал петух. Людей ко сну клонило.
Телефонистка в вязаном платке
мой номер первым вызвала лениво.
В кабине было душно и темно.
Твой голос вдруг раздался где-то рядом.
Гнездо мое... Не тронуто оно,
с его окном, с его осенним садом.
Ты мне сказал: «Сейчас спустился вниз».
Я поняла: ведь я с тобой стояла
всю ночь, пока стучало о карниз
осколками горячего металла.
Но разговор был короток и сух.
Я не сказала ничего, что надо.
И как сумеешь передать на слух
тепло руки, касанье губ и взгляда!..
И все равно, я знала: ты живешь.
Пришел рассвет, умолкнули зенитки.
Одoleвая утреннюю дрожь,
ты режешь хлеб и греешь чай на плитке.
А я иду по утренней росе,
за крышами серебряная Волга,
грузовики грохочут по шоссе,
кричит буксир настойчиво и долго.
И это — жизнь. И мы пройдем по ней.
Наш путь один, и счастье наше — тоже.
В крови, в пыли — и тем еще родней,
в опасности — и тем еще дороже.

ДОРОГА

До города двенадцать километров.
Шоссе как вымерло — ни человека...
Иду одна, оглохшая от ветра,
перехожу взлохмаченную реку.
Мы на реке с тобой бывали вместе,
когда-то шли по этой вот дороге...
Как увязают в чавкающем тесте
усталые по непривычке ноги.
Как больно хлещут ледяные плети,
какой пронзительный, угрюмый вечер,
и ни огня на целом божьем свете,
и от мешка оцепенели плечи.
В нем розовая крупная картошка,
пронизанная сыростью осенней.
Приду и стукну в крайнее окошко,
и мать с огарком отопрет мне сени.
Огонь запляшет, загудит в железке,
вода забулькает. А я раскрою дверцу
и сяду возле. И при жарком блеске
письмом вчерашним отогрею сердце.
И долгий путь сквозь мокрое ненастье
осенней ночью — хриплой и бездомной —
мне кажется ничтожно малой частью
одной дороги — общей и огромной.



ОКТАБРЬ 1941 ГОДА

Оправлен город в золото и медь.
С утра дымки над крышами толпятся.
Беспечный день. Как может он смеяться,
как смеет в листьях пурпуром гореть?
Как солнце в небе не потупит взгляда,
когда такое горе у дверей,
когда ни света, ни тепла не надо,
когда к Москве подходит канонада,
тяжелый гром немецких батарей?
Мне кажется, он медленно сочится
в безветрие чужого городка.
Но полдень тих, щебечет мирно птица,
висит листва, беззвучна и ярка.
Что делать мне? Я только помнить вправе.
Я только, жить тобой не перестав,
весь день блуждаю на границе яви,
от Кудрина до городских застав.
Мне, может быть, сюда вернуться надо б,
здесь тоже путь по-воински суров,
а я все там — между рогатых надолб
и выкопанных москвичами рвов.
А день идет... И стоголосым звоном
звонит в ушах бессонница. И ночь
опять приходит новым эшелонам,
на прошлую похожая точь-в-точь.
Опять идут измученные люди,
опять носилки, костыли, бинты,
страданье, кровь, простреленные груди
и хриплый бред палатной темноты.

Раздача чая, и разборка почты,
и наступающий врасплох рассвет,
и теплота на сердце оттого, что
тот, новый, спит, укрыт и обогрет.
Теперь бы лечь. На полчаса забыться.
Совсем светло. Усталость валит с ног.
А как мне спать? Мне надо торопиться,
опять идти какой-то из дорог.
Куда идти? Зачем идти? Кто помнит?
Опять бульвары и ночной Арбат,
метро и стены незнакомых комнат,
в глазах огни какие-то рябят...
Нет, я не сплю. Сменяются в дежурке.
Здесь госпиталь военный. Но, постой,
зачем в цветок набросаны окурки?
Там их нельзя бросать, на мостовой.
Над площадью, умытой и студеной,
там желтая высокая заря...
Опять идут военные колонны,
как в тот последний праздник Октября.
Кричат «ура»... И я с трибуной рядом.
И вот, в последнем озаренье дня,
он снова добрым утомленным взглядом
в упор с улыбкой смотрит на меня.
С Москвы-реки поземка ледяная
летит, шелка над строем теребя,
и я смеюсь от радости: «Родная
Москва моя! Он не отдаст тебя!»
Кричат «ура». В ушах звенит от крика.
Я ухожу, но я вернусь опять.
Как мне спокойно. Как тепло и тихо.
Как мне смертельно захотелось спать.
А утром сводка: в первый раз — другая.



НОЧЬ

(Зима 1942 г.)

Смеясь и щуря сморщенные веки,
седой старик немислимо давно
нам подавал хрустящие чуреки
и молодое мутное вино.

Мы пили все из одного стакана
в пронзительно холодном погребе,
и влага, пенясь через край, стекала
и на́ землю струилась по руке.

Мы шли домой, когда уже стемнело
и свежей мглою потянуло с гор.
И встал до неба полукругом белым
морскою солью пахнувший простор.

От звезд текли серебряные нити,
и на изгибе медленной волны
дрожал блестящим столбиком Юпитер,
как отраженье крохотной луны.

А мы купались... И вода светилась...
И вспыхивало пламя под ногай...
А ночь была как музыка, как милость —
торжественной, сияющей, нагой.

.....

Зачем я нынче вспомнила про это?
Здесь только вспышки гаснувшей свечи,
и темный дом, трясущийся от ветра,
и вышек стук в нетопленной печи.

Проклятый стук, назойливый, как Морзе!
Тире и точки... точки и тире...
Окно во льду, и ночь к стеклу примерзла,
и сердце тоже в ледяной коре.

Еще темней. Свеча почти погасла.
И над огарком синеватый чад.
А воткнут он в бутылку из-под масла
с наклейкой рваной — «Розовый мускат».

Как трудно мне поверить, что когда-то
сюда вино звенящее текло,
что знало зной и пенные раскаты
замасленное, мутное стекло!

Наверно, так, взглянув теперь в глаза мне,
хотел бы ты и все-таки не смог
увидеть снова девочку на камне
в лучах и пене с головы до ног.

Но я все та же, та же, что бывало...
Пройдет война, и кончится зима.
И если бы я этого не знала,
давно бы ночь свела меня с ума.



ЯБЛОКИ

Ю.Р.

Ты яблоки привез на самолете
из Самарканда лютою зимой,
холодными, иззябшими в полете
мы принесли их вечером домой.

Нет, не домой. Наш дом был так далеко,
что я в него не верила сама.
А здесь цвела на стеклах синих окон
косматая сибирская зима.

Как на друзей забытых, я глядела
на яблоки, склоняясь над столом,
и трогала упругое их тело,
пронизанное светом и теплом.

И целовала шелковую кожу,
и свежий запах медленно пила.
Их желтизна, казалось мне, похожа
на солнечные зайчики была.

В ту ночь мне снилось: я живу у моря.
Над морем зной. На свете нет войны.
И сад шумит. И шуму сада вторит
ленивое шуршание волны.

Я видела осеннюю прогулку,
сырой асфальт и листья без числа.
Я шла родным московским переулком
и яблоки такие же несла.

Потом с рассветом ворвались заботы.
В углах синел и колыхался чад...
Топили печь... И в коридоре кто-то
сказал: «По Реомюру — пятьдесят».

Но как порою надо нам немного:
среди разлук, тревоги и невзгод
мне легче сделал трудную дорогу
осколок солнца, заключенный в плод.



СТИХИ О ДОМЕ

Косое деревянное крыльцо,
облитое зеленоватым светом.
У дома было доброе лицо,
и дом всегда встречал меня приветом.

И ничего, что он в сугробах дрог,
что лед с крыльца
рубить случалось ломом,
он мне в ту пору помогал, как мог,
он был тогда мне настоящим домом.

Какой суровый, необычный быт!
Здесь все не так, все трудно по-иному...
Но здесь мой кров.

Здесь мой ребенок спит.

Здесь мы живем.
За все спасибо дому.

Теперь мне стыдно вспомнить, как порой,
в тоске, слепой, неистовой, бывало,
я горькими словами называла
провинциальный домик под горой.

Он в дождь чернел и в жидкой глине вяз,
но нас берег от сырости и ветра.
Не в нем ли мы над картой в сотый раз
разлуку мерили на сантиметры?

Дым ел глаза... но то был добрый дым,
дым очага!

Добра не позабудем.

Спасибо стенам, тесным и простым,
теплу, огню, хорошим русским людям!

ДОМОЙ

Сквозь дрему глухую, предутренний сон
я чувствую: поезд идет под уклон.
Прильнула к окну шелестящая муть,
легчайшим изгибом свивается путь.

И в свете февральских расплывчатых звезд
в двенадцать пролетов над Волгою мост.

В мерцанье рассвета уходит река.
Лесами скользит эшелона змея.
На запад, на запад, где дремлет Москва,
где в облаке сизом — родная моя.

Я завтра увижу покинутый дом,
я завтра приду к дорогому крыльцу, —
приду и немного помедлю на нем,
дорожный платок прижимая к лицу.

Я вспомню о щелях в садовой тени,
о вое тревог по ночам и о том,
как мы в беспокойные первые дни
полоски на стекла клеили крестом.

И самое горькое вспомнится мне:
взволнованный, людный, вечерний вокзал,
и небо в щемящем закатном огне,
и что мне любимый, целуя, сказал.

Мне этого часа вовек не забыть.
Да разве мы прежде умели любить?
Да разве мы знали, что значит война,
как будет разлука горька и длинна?
...На запад скользит эшелона змея,
все ближе мой город, отчизна моя!

* * *

Помню празднество ветра и солнца,
эти лучшие наши часы,
и ромашек медовые донца,
побелевшие от росы.

Помню ржавые мокрые листья
в полусвете угасшего дня.
Горьких ягод озябшие кисти
ты с рябины срывал для меня.

Помню, снежные тучи повисли,
их кружила седая вода.
Все улыбки, и слезы, и мысли
я тебе отдавала тогда.

Я любила и холод вокзала,
и огней исчезающий след...
Я, должно быть, тогда еще знала —
так рождается песня на свет.



* * *

У каждого есть в жизни хоть одно,
свое, совсем особенное место.
Припомнишь двор какой-нибудь, окно,
и сразу в сердце возникает детство.

Вот у меня: горячий косогор,
в ромашках весь и весь пропахший пылью,
и бабочки. Я помню до сих пор
коричневые с крапинками крылья.

У них полет изменчив и лукав,
но от погони я не уставала —
догнать, поймать во что бы то ни стало,
схватить ее, держать ее в руках!

Не стало детства. Жизнь суровой, строже.
А все-таки мечта моя жива:
изменчивые, яркие слова
мне кажутся на бабочек похожи.

Я до рассвета по ночам не сплю,
я, может быть, еще упрямей стала —
поймать, схватить во что бы то ни стало!
И вот я их, как бабочек, ловлю.

И с каждым разом убеждаюсь снова
я в тщетности стремленья своего —
с пыльцой стертой, тускло и мертво
лежит в ладонях радужное слово.

* * *

Когда-то я любимого ждала,
единственного нужного на свете!
Тогда был май, черемуха цвела,
в окно влетал студёный горький ветер.

Был лунный сад в мерцающем снегу;
он весь дышал, смеялся веткой каждой,
а мне казалось — больше не смогу!
Но я тогда другой не знала жажды!

Он не пришел. Зазеленел рассвет.
Истлели звезды. Звякнула синица.
И вот теперь мне кажется... Но нет,
ничто с моей тоскою не сравнится,

когда слова теснятся в темноте,
уходят, кружат и приходят снова,
ненужные, незваные, не те,
и нет нигде единственного слова!



РАЗЛУКА

I

В руке сжимая влажные монеты,
я слушаю с бессмысленной тоской,
как в темноте, в слепом пространстве где-то,
звонок смеется в комнате пустой.

Я опоздала. Ты ушел из дома.
А я стою — мне некуда идти.
На ветровой простор аэродрома
в такую ночь не отыскать пути.

И я шепчу сквозь слезы: «До свиданья!
Счастливым путь, любимый человек!»
Ничтожная минута опоздания
мне кажется разлукою навек.

II

Утром на пути в аэропорт
улицы просторны и пусты.
Горизонт туманом полустерт,
розовеют почками кусты.
Вся в росе, младенчески мягка
вдоль шоссе топорщится трава.
В сердце с ночи забралась тоска —
каждая разлука такова.

На перроне — голубой забор,
тени бродят, на песке скользя...
Дальше — ветер, солнце и простор.
Дальше провожающим нельзя.

В облаках, стихая, как струна,
«Дуглас» чертит плавный полукруг.
Радость встреч была бы не полна
без щемящей горечи разлук.
За разлукой есть далекий час.
Как мы станем ждать его с тобой!..
Он всегда приходит в первый раз,
заново подаренный судьбой.



* * *

Спокойный вечер пасмурен и мглист.
Не слышно птиц среди древесных кружев.
Пустынна улица. Последний ржавый лист
в морозном воздухе легчайший ветер кружит.

Любимая осенняя пора.
На облаках — сиреневые блики,
на светлых лужицах каемка серебра,
и над землей — покой, безмерный и великий.

Как лживо все: и эта тишина,
и мягкий полог облачных волокон...
Как пристально в глаза людей война
глядит пустыми впадинами окон.



* * *

Резкие гудки автомобиля,
сердца замирающий полет.
В облаках белесой крымской пыли
прячется неожиданный поворот.

Полны звона выжженные травы.
Ветром с губ уносятся слова.
Слева склоны, склоны, а направо —
моря сморщенная синева.

Ветер все прохладнее. Все ближе
дальних гор скалистое кольцо.
Я еще до сумерек увижу
ваше загорелое лицо.

Но когда б в моей то было власти,
вечно путь я длила б, оттого
что минуты приближенья к счастью
много лучше счастья самого.



НОЧЬ

Ночь, как быть мне и как рассчитаться с тобою
за холодный закат, за асфальт голубой,
за огни, за твое колдовство молодое
над речной, смоляной, шелестящей водой?

Набегающий дождь, фонари и скольжение
маслянистых разводов по руслу реки...
Ты пришла, как внезапное опровержение
всех сомнений моих, всей тоске вопреки.

Глухо плещет вода о бетонное ложе.
Дождь рванулся по крышам. Уныло, темно...
Да... И все-таки так ты на счастье похожа,
что мне кажется — может быть, это оно.



* * *

Да, ты мой сон. Ты выдумка моя.
Зачем же ты приходишь ежечасно,
глядишь в глаза и мучаешь меня,
как будто я над выдумкой не властна?

Я позабыла все твои слова,
твои черты и годы ожиданья...
Забыла все. И все-таки жива
та теплота, которой нет названья.

Она, как зноя ровная струя,
живет во мне. И как мне быть иною?
Ведь если ты и выдумка моя —
моя любовь не выдумана мною.



* * *

И знаю все, и ничего не знаю...
И не пойму, чего же хочешь ты,
с чужого сердца с болью отдирая
налегших лет тяжелые пласты.

Трещат и рвутся спутанные корни.
И вот, не двигаясь и не дыша,
лежит в ладонях, голубя покорней,
тобою обнаженная душа.

Тебе позволена любая прихоть.
Но быть душе забавою не след.
И раз ты взял ее, так посмотри хоть
в ее глаза, в ее тепло и свет.



* * *

Насыпает камешки в ведерки,
носит от скамейки до ворот...
Я стою на солнечном пригорке
в первый раз в пилотке, в гимнастерке...
Девочка меня не узнает.

Я сама себя бы не узнала
три недолгих месяца назад...
Вдруг она взгляделась, подбежала,
засмеялась: «Мама, ты солдат?»

Жестяные пыльные ведерки
раскидала посреди двора...
Для нее пока еще игра —
новый двор и мама в гимнастерке.



* * *

Уходит день, в углах синее тени.
Бледнеют туч румяные края.
Ко мне, как медвежонок, на колени
карабкается девочка моя.

Беру ее, касаюсь шейки тонкой,
откидываю волосы со лба.
Она смеется беззаботно, звонко,
она со мной, храни ее судьба!

В такое время нелегко на свете,
и много в жизни сожжено дотла.
Я никогда не думала, что дети
приносят столько мира и тепла.



* * *

В оцепененье стоя у порога,
я слушаю с бессмысленной тоской,
как завывает первая тревога
над черною, затихшею Москвой.
Глухой удар,
бледнеющие лица,
колючий звон разбитого стекла,
но детский сон сомкнул твои ресницы.
Как хорошо, что ты еще мала...

Десятый день мы тащимся в теплушке,
в степи висит малиновая мгла,
в твоих руках огрызок старой сушки.
Как хорошо, что ты еще мала...

Четвертый год отец твой не был дома,
опять зима идет, белым-бела,
а ты смеешься снегу молодому.
Как хорошо, что ты еще мала...

И вот — весна.
И вот — начало мая.
И вот — конец!
Я обнимаю дочь.

Взгляни в окошко,
девочка родная!
Какая ночь!
Смотри, какая ночь!

Текут лучи, как будто в небе где-то
победная дорога пролегла.
Тебе ж видны одни потоки света...
Как жалко мне, что ты еще мала!

МАТЬ

Года прошли,
а помню, как теперь,
фанерой заколоченную дверь,
написанную мелом цифру «шесть»,
светильника замавленную жечь,
колышет пламя снежная струя,
солдат в бреду...
И возле койки — я.
И рядом смерть.
Мне трудно вспоминать,
но не могу не вспоминать о нем...
В Москве, на Бронной, у солдата —
мать...
Я знаю их шестиэтажный дом,
московский дом...
На кухне примуса,
похожий на ущелье коридор,
горластый репродуктор,
вечный спор
на лестнице... ребячьи голоса...
Вбегал он, раскрасневшийся, в снегу,
пальто расстегивая на бегу,
бросал на стол с размаху связку книг —
вернувшийся из школы ученик.
Вот он лежит: не мальчик, а солдат,
какие тени темные у скул,
как будто умер он, а не уснул,
московский школьник... раненый солдат.
Он жить не будет.

Так сказал хирург.
Но нам нельзя не верить в чудеса,

и я отогреваю пальцы рук...
Минута... десять... двадцать... полчаса...
Снимаю одеяло, — как легка
исколотая шприцами рука.
За эту ночь уже который раз
я жизнь держу на острие иглы.
Колючий иней выбелил углы,
часы внизу отбили пятый час...
О как мне ненавистен с той поры
холодноватый запах камфары!
Со впалых щек сбегает синева,
он говорит невнятные слова,
срывает марлю в спекшейся крови...
Вот так. Еще. Не уступай! Живи!
...Он умер к утру, твой хороший сын,
твоя надежда и твоя любовь...
Зазолотилась под лучом косым
суровая мальчишеская бровь,
и я таким увидела его,
каким он был на Киевском, когда
в последний раз,
печальна и горда,
ты обняла ребенка своего.

.....

В осеннем сквере палевый песок
и ржавый лист на тишине воды...
Все те же Патриаршие пруды,
шестиэтажный дом наискосок,
и снова дети роятся в песке...
И, может быть, мы рядом на скамью
с тобой садимся.
Я не узнаю
ни добрых глаз, ни жилки на виске.
Да и тебе, конечно, невдомек,
что это я заплакала над ним,

над одиноким мальчиком твоим,
когда он уходил.
Что одинок
тогда он не был...
Что твоя тоска
мне больше,
чем кому-нибудь, близка...

